

## СЛОВО ПРИ ВРУЧЕНИИ ПРЕМИИ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА

Естественным - и совсем не формальным началом моих слов - будет выражение моей глубокой радости и глубочайшей благодарности. Присуждение премии Александра Солженицына – великая честь для меня. Имя Александра Солженицына – не просто имя значительнейшего писателя и мыслителя 20 века, это имя самого исторического бытия страны, в которой мы родились: за именем Солженицына стоит океан человеческих судеб, голосом которых он был избран стать, и принял это избрание, эту, вообще говоря, непосильную ношу - и донес ее. В 20 веке, богатом образцами подвижничества, трудно назвать другого человека, в одиночку донесшего *такую* тяжесть: говорить за целую страну, лишенную – и лишившую себя – слова, то есть в каком-то смысле *быть* за всю эту страну. Ибо замолчанная или фальсифицированная реальность, реальность, у которой нет свидетеля, просто не обладает бытием.

Фонд, удостоивший этой высокой награды Ю.Кублановского и меня, – совершенно особый фонд. Он связан с самой сердцевиной нашей ближайшей истории, с той ее областью, которая одновременно видится и как величайшая общая беда, и как тягчайшее, и тоже общее преступление. Ни та, ни другая сторона этих событий до сих пор не обдумана и не принята всерьез, и через 12 лет прощания с идеологией страна так и не ответила себе на вопрос: что с нами было? откуда мы вышли, вырвались или удивительным образом были отпущены? или и не выходили? Ведь принятая всерьез беда и крушение требуют, как ответа себе, попытки врачевания или, словами Пастернака, «усилья воскресенья». А принятое всерьез преступление – раскаяния и усилия хоть чем-то воздать долг перед его жертвами. И вероятно, единственное

место в России, где эти усилия предпринимаются со всей полнотой осознания, - это Русский общественный фонд. На публичной и официальной поверхности мы видим в последнее время нечто противоположное: попытку построить такую траекторию отечественной истории, которая бы шла в обход этого вопиющего, зияющего пространства: видимо, это делается в обычной надежде на то, что «время лечит» (между прочим, Т.С. Элиот заметил по этому поводу: «Нет, время не лечит: пациента уже нет на месте»), что рано или поздно все пройдет и травой порастет. Одна трава забвения покроет и палачей, и жертв, и тех, кто уверяли себя и других, что ни палачей, ни жертв у нас вообще не было. Тем более, что в нашем случае, в отличие от германского, распределить участников истории по двум этим сторонам трудно порой до полной невозможности, как разделить сиамских близнецов. Вероятно, и в самом деле все порастет этой травой и *станет для людей, как времена Веспасиана*, и уже во многом стало.

Но, во-первых, я подозреваю, что трава эта не может не оказаться ядовитой. Не столько гражданская или политическая, а художественная интуиция подсказывает мне, что ничего действительно хорошего таким образом не получится. А во-вторых, для художника (так принято говорить, но вообще-то - для всякого живого человека) и времена Веспасиана – свои времена. К погибшим при Веспасиане и при других цезарях – а их никак не назовешь жертвами истории – повседневно обращается Церковь; мы надеемся, что они – наши помощники.

Что получается, когда на месте очищения практикуется вытеснение, мы в общем-то знаем: получается, на языке современной психологии, хорошо защищенный невроз, а словами старого Платона – «дырявая» или «худая душа», которую ничем не заполнишь. Дырявая душа цинизма. Совершенно предсказуемым образом, плодом этого ужасного опыта, типичным пост-тоталитарным состоянием оказывается

цинизм. При этом он предлагается обществу как единственное лекарство от фанатизма, как последняя трезвость.

Впрочем, с этой трезвостью мы знакомы давно. У нас уже есть опыт жизни с отмененным прошлым и вытесненным настоящим. Я имею в виду поздние 60-е, 70-е и большую часть 80-х годов, все то, что потом обозвали «застоем».

В этой подмене памяти и зрения и состояло мучение – и, соответственно, вина людей моего поколения. Я говорю сейчас о «поколении» не в возрастном смысле: я имею в виду не ровесников, а всех тех, кто был достаточно взрослым к 70-м годам и что-то делал. Годы относительно либеральные, когда совсем людоедские ГУЛаговские времена представлялись уже историей. Историей, которую требовалось не знать. И вот что говорит мне этот опыт: все, кто принимали как будто не слишком трудное условие не знать, где они живут («А мы не знали!» - как обычно говорили в годы «перестройки» по множеству самых удивительных поводов; реплика Аверинцева: «Кто это мы? Мы, например, знали: что же вы так не хотели узнать этого от нас?» - эта реплика благополучно прошла мимо ушей) – так вот, те кто «не знал», стали тем, что Бродский в своей нобелевской речи назвал «жертвами истории». И уж во всяком случае художниками в реальном смысле слова они не стали. Настоящие поэты, музыканты, живописцы, режиссеры, мыслители этих лет *знали*. Интересно, что это *знание*, больше похожее на чувство, на ориентацию в пространстве (как в строфе Пастернака:

*«Душа моя печальница  
О всех в кругу моем,  
Ты стала усыпальницей  
Засыпанных живьем»*)

находило себе неожиданное выражение, обычно довольно далекое от того, что можно назвать гражданскими мотивами (и вовсе не в силу пресловутого эзопова языка). Философская страсть Мераба Мамардашвили, трагикомический блеск Венедикта Ерофеева, визионерские вспышки поэзии Елены Шварц, гимническая живопись Михаила Шварцмана, сновидческая ткань зрительных образов Андрея Тарковского, новая сакральная сонорность музыки Александра Вустина, ясная как день мысль С. С. Аверинцева, укорененная в «родном и вселенском» и проходящая тысячелетия культурной и духовной истории нашей цивилизации – все эти новые формы и новые смыслы (естественно, я называю не все безусловные удачи этой эпохи: но и этот список впечатляет!) были плодами внутренней свободы, «усилья воскресенья». Именно они, с общим для них освещением – я бы сказала, что дело в них происходит при свете почти беспредметной религиозности и необъяснимой надежды – отвечали на замолчанный обществом вопрос этого времени, вопрос об исцелении и отдаче долга, о котором я говорила вначале. Позволю себе вспомнить строчки, которые я сочиняла лет в 16-17: это пейзаж, деревья ранней весной:

*Течет воскрешение робко,  
И нужно припрятать корой,  
Студеною топью: ни тропки  
Для взгляда, для речи дурной –*

здесь нет стихотворных достижений, но есть уловленный ветер и свет времени. Если позволите, я дочитаю:

*Истоки слипаются в жилах.  
И если из них отцедить,  
Простынувший запах могилы  
Там силы еще не хватило  
В молочную плоть заключить.*

*Не всю еще стужу прозябли,  
Не всю еще смуту снесли,  
Чтоб вызвать прощенья каплю  
У безмерно виновной земли.*

Даже эти далеко не блистательные строки начинающего автора рядом с его же взрослыми прозаическими рассуждениями дают почувствовать – или предчувствовать – что такое возможность поэзии, возможность искусства, возможность смысла и чувства, являющихся вместе с формой, то есть, в своей истинной простоте: воплощенных. Я сказала бы: это возможность души в мире, который делает все, чтобы душа была невозможной.

Об этой возможности и говорил опыт внутреннего освобождения, происходивший во многих формах и во многих лицах в конце зловещей эпохи. Мы начинали верить, что нам есть что сказать людям. То, что складывалось в ответ на историю, я назвала бы поэтикой выздоровления, поэтикой целительства.

Годы политического раскрепощения, мутные, суетливые, ерничающие в своем культурном выражении, как будто отменили и завалили то начало, точнее, те начала. Но то, что уже стало, уже явилось, как известно, неотменимо, и я по-прежнему думаю, что нам есть что сказать после всего (точно наоборот повсеместно повторяемым словам о невозможности поэзии после Аушвица и ГУЛага: как раз внутри этого и после этого человек как никогда оценит животворящую силу свободного искусства). «Нам есть что сказать миру после нашего опыта», сказал Владыка Антоний. Мы только начали это говорить. Но конечно, эта возможность покажется достоверной только для того, кто в этом «мы» слышит «я»: лично я, имярек, не жертва истории.